
Владимир Лим

Зеркало

Рассказ

Внезапно хлопнет оконница
и мать позовёт
пора возвращаться

Тадеуш Ружевич. Возвращение.

Татьяна Васильевна остановила Вийку на улице и заговорила с ним.

Нужно было написать объявление о субботнике.

В том, что она попросила об этом именно его, не было ничего удивительного — он с детства увлекался каллиграфией, овладел многими шрифтами на разных языках, его часто приглашали писать лозунги, приветственные адреса, заполнять аттестаты зрелости, оформлять стенгазеты и надгробия. Но ее дружеский тон, теплый взгляд серых глаз поразили его. Так с ним не говорила ни одна женщина, к тому же такая образованная — Татьяна Васильевна закончила университет и преподавала в школе обществоведение.

Вийка радостно кивнул.

— Только у меня нет ни красок, ни ватмана,— с улыбкой заметила Татьяна Васильевна.

— Ничего! — так же радостно ответил на это Вийка.

Объявление получилось красивым, но на субботник по озеленению поселка пришли только ученики Татьяны Васильевны. В этом тоже не было ничего удивительного: в прошлом году она организовала в школе кружок защитников природы и всю путину караулила реку от браконьеров, в результате мало кому удалось запастись на зиму лососем — главной едой жителей Побережья. О кружке написали в районке, но с тех пор в поселке Татьяну Васильевну сторонятся. Да и кто она такая, чтобы объявлять субботник?

И все же Вийке стало обидно за нее — ведь она хотела посадить деревья, хотела добра; он вызвался съездить на моторке за тальником.

Деревья посадили перед школой.

С легкой руки местных остроловов Татьяну Васильевну стали звать «Зелёной», намекая то ли на ее молодость, то ли на политическую партию.

Лим Владимир Ильич родился в 1948 году на Камчатке, закончил Литинститут им.А.М.Горького, семинар Ю.В.Трифонов. Работал в «Комсомольской правде». Автор книги «Горсть океана» (2016). Живет в Петропавловске-Камчатском.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 9.

Деревья принялись, но простояли в нежной робкой зелени только до первого шторма. К несчастью, районка поспешила известить о появлении в Песчаном сквера.

Весь поселок потешался над «зелеными», пытавшимися спасти деревья, промывая почву вокруг них пресной водой.

Горько переживал Вийка эту дружную и непонятную злобу своих земляков. Неужели они радовались тому, что их поселку никогда не быть осененным живой веселой тенью деревьев?

На День рыбака в клубе был вечер, и никто из парней не пригласил Татьяну Васильевну, хотя она была не хуже, а даже лучше многих девушек.

Вийка тоже не танцевал — от неумения, невольно наблюдал за ней, видел, как она поднимала лицо и подавалась всем телом навстречу, когда кто-нибудь из парней шел в ее сторону, как бы намереваясь пригласить.

На эту примитивную уловку она попала трижды и, сторонясь танцующих, вышла из клуба.

С этого вечера Вийка стал думать о Татьяне Васильевне неотступно — как о близком, не понятом другими человеке. Мысли о ней соединились с мыслями о матери. В год ее смерти ему было всего лишь четыре года, он мало что помнит из того времени, и, может быть, поэтому мать вдруг стала представляться ему такой же беззащитной, как и Татьяна Васильевна.

Вийка ложился рано, чтобы в постели, отвернувшись к стене, воображать учительницу — ее лицо, глаза, губы, волосы...

Он засыпал в тоске, однажды заплакал во сне, пробудился от страха, что кто-нибудь услышит его всхлипы, вскочил в темноте.

В окне, в откинутых рамах, он увидел сумеречный вечер без звезд и синева. Он загрустил, будто плакал наяву, почувствовал себя несчастливym, и ему подумалось, что и она несчастлива.

Она страдает и, значит, может понять его и потому не рассердится на любовь.

Вийка почти все чувства к женщине считал любовью: и жалость, и нежность, и благодарность.

Ему уже казалось, что и она думает о нем.

Он быстро оделся, но по привычке в рабочее, спохватился, рывком стянул рубашку, поцарапав лоб остатками присохшего к вороту бетонного раствора.

Он так спешил, будто она назначила ему свидание, а он опаздывал.

Вийка спустился к воде и пошел по накату. Он спешил и слушал свое дыхание, будто это было ее дыхание, но когда он вышел к учительскому дому и увидел людей, уверенность в том, что она ждет, разом прошла.

Ему стало стыдно, так стыдно, словно он с кем-то говорил о том, что она ждет, а учительница сказала: «Я не звала, вас обманули...»

Он чуть было не побежал от людей, будто они были свидетелями его унижения, но остановил себя, с усилием подумав: да они ничего не знают.

Это были сезонники, они прошли, покосившись насмешливо. Вийка знал, что сезонники на всех местных смотрят насмешливо, но сейчас он испугался, ему показалось, что они догадываются, зачем он здесь.

Ну и пусть, сказал он себе, пусть думают что хотят.

Он нарочно смотрел на прохожих, спешивших в клуб, и, если бы кто-нибудь в эту минуту вздумал посмеяться над ним, Вийка, пожалуй, ударил бы этого человека.

Два дома в Песчаном вызывали всегда в нем печальную зависть — дом молодых специалистов и дом учителей — там жили люди, достигшие того, чего хотел бы достичь и он.

Вийка всегда тянулся к этим людям и тайно любил их. Если они хорошо относились к нему, то он любил их еще больше, если они пытались унижить его, то ненавидел их. Но все они оставались для него чужими.

Теперь же было совсем не так.

Он смотрел на дом учителей не как на дом, в котором живут образованные люди, а как на дом, в котором живет она. Но она и жизнь ее были недоступны для него.

Ему было грустно смотреть на родное, для которого он был чужим. Он все яснее и яснее понимал, насколько она близка его душе, настолько он чужой для нее.

И он пошел мимо, пошел для того, чтобы навсегда проститься с надеждой.

В окне, прикрытом газетой, он увидел белый потолок, лампочку в брызгах белил и ее. Она сидела за столом и писала.

На следующий день, утром, Вийка вновь подошел к ее дому, снова увидел учительницу в окне. Она улыбнулась.

Он простоял до тех пор, пока не встретил Подругу. Та хотела пройти мимо с равнодушным лицом, как делала это обычно, ему первое время это казалось странным, он долго не верил нежности Подруги, с которой та относилась к нему наедине. Но Вийка остановил ее и заговорил. Он не думал, плохо это для его любви к учительнице или хорошо, но ему хотелось, как никогда, чтобы Подруга выказала свою нежность здесь, на улице.

Он пошел с Подругой и не оглянулся, хотя ему очень хотелось оглянуться. Она ничего не могла понять, но он думал не о ней, а об учительнице.

Ей не будет больно, думал он об учительнице, ей не будет грустно, ведь я ей чужой, такой, как все.

Весь день он помнил улыбку учительницы. Вечером с бездумной радостью рассказал об этом Подруге — та дернула подбородком и ушла, сказав, что навсегда.

И на следующее утро, уже без прежнего стыда, он стоял под окном учительницы. Стекла были чисто вымыты, до блеска натерты зубным порошком, а бумажная занавеска заменена на ситцевую.

Он замер от предчувствия несчастья, мгновение спустя с тяжелым сердцем постучал в раму.

На крыльцо вышла девушка, Вийка ее не знал, и, ни о чем не спрашивая, сказала равнодушно:

— Татьяна Васильевна уехала.

Горе, которое он ощутил потом, казалось ему не связанным с учительницей.

Все радости, наполнявшие его жизнь, радость ловких и сильных движений, радость летнего ветра, радость песен, вольной работы, радость осязания ладонями такого удобного черенка лопаты, с визгом отсекающей от железного листа только что замешенный бетонный раствор, — все эти радости потеряли смысл. Вийка стал рассеян, его перевели трамбовать бетон в секциях. Он топтался наверху, на растущей стене морского укрепления, в раздуваемой ветром рубахе до тех пор, пока ему не кричали снизу:

— Эй, обед!

Он повторял машинально «обед, обед...» и шел со всеми в столовую, напоминавшую своим сырым потолком баню.

Деревья засохли, Татьяна Васильевна уехала в район, но над Вийкой посмеивались, особенно старался бригадир Пинезин.

Полгода назад он напросился в гости к Вийке и, притворившись пьяным, остался ночевать. Утром, проснувшись по нужде, Вийка застал его у окна — приподняв занавеску, тот наблюдал за домом напротив: из-за приотворенной двери выглянул лысый крепкий кадровик и, придерживая просторные черные трусы на тощих бедрах, выпустил светлокосую женщину, она захватила белыми руками концы большого цыганского платка, падавшего с плеч, припала на мгновение к впалой груди кадровика и тихо исчезла в тумане. Пинезин со стоном ткнул себе кулаком в зубы. Вийка, очнувшись, признал в женщине его жену — нормировщицу Фаину и вдруг, к ужасу

своему, спросонья засмеялся. С тех пор Пинезин, не таясь, мстил ему за свой позор — то подбрасывал за тесное голенище вчерашний раствор, то отодвигал ящик, на который Вийка хотел присесть. Однажды, падая, Вийка сильно ударился затылком — его чуть не стошнило, но он, к дружному удивлению товарищей, только улыбнулся.

В тот же день в столовой бригадир подсунул ему вместо хлеба принесенный заранее деревянный брусок. Вийка понял это, когда поднес деревяшку к губам. Он хотел улыбнуться, но из очереди метнулась забытая Подруга, выхватила брусок, швырнула в тарелку Пинезина и закричала:

— Ты, недоделанный, на ком хочешь отыграться?

Вийка огляделся посреди тишины и недобрых взглядов. Каким ничтожным показалось ему все это! Он встал и медленно, ощущая холод столовой, вышел на улицу.

Он дождался товарищей и, растроганный своим великодушием, протянул руку бригадиру. Пинезин отвернулся, заговорил с кем-то и пошел к морю. Вийка шагнул за ним с протянутой рукой и замер, остановленный Подругой.

— Ну ты и размазня, — сказала она, — так тебе и надо, понял?

Бедная разгневанная женщина, обвиняя своего дружка, и не подозревала, что его удерживает от самозащиты сознание своей непоправимой вины.

...Мама сидела на полу, поджав ноги, и вокруг нее лежал подол просторной юбки. Вийка, покачиваясь, ступил за ее край, и пол, пронзительно холодный, ответил ударом в ступню. Вийка споткнулся, выкинул ручонку, хватая воздух растопыренными пальцами. Мать подхватила его и понесла к окну. Он засмеялся, потянулся ногами к подоконнику. Мать поняла его, и вот он стоит, ухватившись за веревку с висящими на ней вместо занавесок корейскими газетами.

Потом, когда Вийка, проснувшись, начинал плакать, мать ставила его на подоконник, и он принимался за работу: помня о маме, неумоимо тянул бечевку и рвал бумажные занавески.

Иногда Вийка начинал тосковать, плачем звал маму, она, вытирая руки о юбку, подходила к нему, обнимала и, покачиваясь, пела корейскую песню, и была эта песня цветной, и жили в ней девушка, ее старый отец с редкой бородкой, и весна, и плач этих бедных и красивых людей над рекой, среди цветущих слив, и богач, руками поддерживающий свой круглый живот...

Однажды Вийка, толкая перед собой табурет, придвинул его к окну, взобрался на него, потянулся к веревке с занавесками. Он напрягал шею, шевелил нетерпеливо пальцами, но достать не мог. Сел и заплакал, плача, вновь встал, подпрыгнул, ухватился за бечевку, она не выдержала и лопнула. Табурет качнулся, встал на две ножки, Вийка судорожно потянулся к окну, но равновесие было уже потеряно и подоконник, этот недостижимый теперь берег, метнулся сначала в сторону, потом вверх.

В мгновение короткого страха, вызванного неотвратимостью падения, Вийка подумал «мама», подумал не словом — картиной, он как бы увидел мать бегущей к нему с протянутыми руками и с рождающимся в ней рыданием боли за него, все это возникло перед ним, вместилось, непонятно как, в сферах глаз, прикрытых тонкими вздрагивающими веками; он успокоился, привычно ожидая ее рук, которые выхватят его из падения; он уже знал боль, но верил еще в руки матери, он постоянно ощущал их, и ему казалось, что ими наполнен весь дом.

Вийка упал на пол и несказанно этому удивился. Он открыл глаза и увидел мать, она бежала, протянув руки, с рождающимся в ней рыданием боли за него, подол ее длинной юбки взлетал над пятками.

Она была в начале пути к нему.

Его не поразило, да и не могло поразить тогда совпадение, он, лежа в ее руках, раздумывал: заплакать или нет?

Но сейчас, в ночи, растревоженный словами Подруги у столовой, он переживал

это воспоминание о матери. Вызывая новые подробности и откликаясь на них благодарно, он как бы становился тем, маленьким, и ясно, до холода в затылке, чувствовал касания рук матери, ее губ, тяжелого дыхания.

Он оглядывался в ночи, смотрел недоуменно в темноту, всё в доме, казалось, помнило о маме, вещи были расположены иначе, в той особенной закономерности, которая отвечала представлению матери о порядке...

Вийка ощущал себя как продолжение матери, ее плоти, и, думая так, раздвигал мир, наполненный связями; ему брезжился бесконечный путь к истокам, открывался сокровенный смысл родственных чувств, ощущаемых им в горе так потрясенно.

Пришло утро, но оно ничего не изменило, холодный свет этого утра пронизывал его, как будто он был бесплотной тенью, и перемены в нем отзывались печалью.

Вийка спустил ноги с постели и услышал шаги матери на кухне. Он подошел к окну, потрогал занавески, прижал ладони к холодному подоконнику — мама пела.

Он отпрянул, зацепил локтем ветку китайской розы, она хрустнула, удерживая равновесие, он покачался на пятках и посмотрел через плечо. Ветка висела на тонкой коже, как сломанная косточка. Вийка протянул руку и ногтем отщипнул кору.

Откусывая наискосок ножницами кончик ветки, он увидел пальцы матери, обламывающие пожелтевший листок.

В это утро все касания вызывали вспышки воспоминаний. Они были яркие и создавали иллюзию ощущений: запаха, цвета, звука. Они были почти материальны, казалось, застывали, и их можно было переставлять, трогать, рассматривать, как объемные фотографии. Вийка, замороженный, сел под розой. Он чувствовал себя маленьким, пятилетним; поджал под себя ноги и, закрыв глаза, раскачивался тихо.

В этот день Вийка впервые не пошел на работу. В этот день вернулась мать.

В детстве его мучила нежность к ней. Ему хотелось трогать ее лицо, руки, одежду. Он подходил к ней и прижимался виском к бедру, оно было твердым, теплым. Мама всюду натыкалась на Вийку, он провожал ее до порога, стоял у двери, помня пальцами выскользнувшую материю миткалевой юбки, садился на порог и, слушая улицу, ждал.

Иногда его увлекали игры, он забывал о маме, но когда она возвращалась и напоминала о себе шагами на крыльце, он как бы вновь обретал ее, летел к ней и с размаху бросался ей в колени.

Устав от игр, Вийка брал веник и нес маме, она касалась пальцами его затылка и возвращала веник на место. Вийка, желая ласки, брал веник и вновь протягивал матери. Она оборачивалась, и он наклонял голову, подставляя затылок. Однажды ожидание ласки было долгим, Вийка шевельнулся, поднял лицо и наткнулся на ее взгляд. Глаза матери были тяжелы и не видели его. Он позвал ее. Она присела перед ним, обняла и сказала: «Сыночек мой, тебя каждый обманет».

Ветку китайской розы мама принесла в банке. Розу поставили на подоконник, к свету, и Вийка тосковал по окну, за которым жили берег, море и солнце.

Роза росла быстрее Вийки, вскоре она превратилась в небольшое деревце, ее пересадили в кадку. Роза занимала окно и угол комнаты.

Вийка любил солнечные желтые дни, они с мамой выносили кадку на крыльцо, и мама, набрав воды в рот, брызгала на розу, капли били в листья, и этот необычный шум радостно тревожил Вийку.

Прохожие просили у мамы черенки, мать не отказывала, но, когда она щелкала лезвиями портняжных ножниц, Вийка видел, как вздрагивали ее черные зрачки. Роза ни у кого не приживалась, и Вийка решил, что люди не поняли советов матери о живой земле для черенков.

Но потом Вийка узнал, что люди просто ленились ходить за пятьдесят километров за почвой. Им было приятно просить черенки, приятно расспрашивать дорогу, у

некоторых глаза играли тонкими влажными бликами. Но все это было нахлынувшим, минутным, желание добра и цветов было праздником, а праздники не длятся долго.

Время от времени среди листьев розы появлялся желтый, он был прозрачен, как пергамент. Если листок погибал внутри куста, то казалось, что в розе стоял луч вечернего солнца. Листок осторожно снимала мать, он еще долго потом лежал на подоконнике, похожий на ладонь маленького волшебного человечка.

Однажды Вийка решил снять увядший листок сам. Листок был на самой верхушке. Вийка обрадовался, он решил помочь маме и заслужить ласку. Он встал на табурет и потянулся за листком, ухватил за черенок и потянул вниз.

Лист оторвался, Вийка потерял равновесие и упал на розу. Падая, он сломал ветку, поранил ладонь; из нее сочилась кровь, он слизывал ее, измазав нос и губы. Капли крови набухали быстро, они срывались с ладони, скользили по листьям ветки и разбивались о выскобленный пол.

Вийка испугался, отбросил ветку. Он проследил ее путь до желтых половиц и увидел пятна крови. Вийка поднял ветку, сжал ее в раненой ладони, прикрыл кровь на полу веником, обувью, потом выбежал на улицу, разбил ногой корочку песка под окном и принялся засыпать ветку.

Голос отца бросил Вийку на землю. Вийка скосил глаза и увидел литые резиновые сапоги в чешуе. Сапоги нагрелись от ходьбы на солнце, пахли тепло и горько, когда отец раскапывал ими ветку. Песчаная пыль оседала на зрачки.

Вийка заплакал. Отец отослал его домой, ткнув легонько указательным пальцем меж лопаток, а сам сел на крыльцо.

Вийка, прижавшись щекой к порогу, плакал. Дверь резко распахнулась, так резко, что занавески метнулись за ней в коридор, мать переступила через сына и, касаясь розы, сказала: «Ай-я-яй...» Вийка опять заплакал, но не от слов матери, он помнил прикосновение юбки к лицу, ноги матери с желтыми твердыми пятками, перешагнувшие через него, как через порог.

Мать подняла его с пола.

«Что он сделал с тобой? Что он сделал с тобой?» — закричала она, увидев кровь на его лице, и выбежала на улицу.

«Изверг, изверг вы...» — сказала мама.

Отец пожал плечами, продолжая бить веткой о сапог.

Мать вернулась в дом, одела Вийку, схватила за руку и выбежала на крыльцо.

«Куда?» — отец встал и развел руки, будто ловил цыплят. «Куда?» — повторил он грозно.

Мать закрыла лицо ладонями, согнулась, кланяясь, и завывала тонко, жалобно:

«Поиздевались, теперь отпустите, больше не могу...»

«Иди домой!» — отец оглянулся, на них смотрели соседи.

«Пустите, я не хочу, пусть ваши проститутки вас...»

«Домой!» — взревел отец, больно хватая ее за плечо.

Мать выпрямилась, опустила руки, пошевелила губами, собирая слюну, и плюнула отцу в лицо.

Отец оглянулся, прищурил свои тонкие птичьи веки, ударил мать, крякнув, будто рубил дрова, и ушел в дом. Мать упала с крыльца, ударилась о землю спиной, встала и сказала короткое лающее слово, смысл которого Вийка не знал, но он запомнил его и в день похорон матери спросил у корейцев. Это слово означало «предатель».

Это слово означало «предатель», вспоминал Вийка, сидя под розой, и услышал голоса товарищей под окном. Он встал у стены и осторожно выглянул из-за занавески.

Товарищи уговаривали Пинезина проведать Вийку, бригадир несколько раз сказал: «Нет». Потом, замахав на них руками, проговорил: «Кыш, кыш на работу!»

Они ушли.

Вийка оделся и пошел к укреплениям, залил с товарищами очередную секцию

бетоном, но мыть руки с ними в море не стал — перебросил куртку через плечо и направился прочь.

— Я тебе прогул поставил! — крикнул Пинезин.

Вийка прибавил шагу, вдохновляемый пинезинским «кыш на работу», и шептал себе в такт: «А иди ты, а иди ты...»

Он остановился далеко за поселком, там, где берег косыми дюнами уходил в море. Ветер сочился от далеких гор, через тундру, реку, огибал плато косы и струился к горизонту. Вийка обходил дюну за дюной, ноги сами убыстряли шаги, подгоняли друг друга, несли неумолимо, дыхание по-прежнему было легким, а сердце билось неслышно. Вийка не ощущал сердца, словно его не было.

Он шел, не помня себя, своей жизни, увлеченный ходьбой, движимый неясным желанием, но за поворотом открывалось такое же лукоморье — пустынное и обещающее.

Вийка знал, что на много километров по Побережью его ждет все то же одиночество, но надежда, невесть откуда взявшаяся, шальная надежда гнала его, толкая в спину своей неласковой рукой.

Он испытывал судьбу, просил у нее то, чего она не могла дать. Нет на земле, ни за каким поворотом места, где обитают умершие.

Вийка повернул к дому, навстречу своим следам.

И вновь принялся обманывать себя.

Теперь ему казалось, что он спешил тогда, плохо смотрел вокруг и, быть может, прошел тот поворот, за которым открылся бы ему город прошлого. Смеясь над собой, он осматривал ямы в надежде найти какой-нибудь люк или дверцу, скрывающие путь под дюны.

Он убеждал себя в том, что решил позабавиться и затеял старую детскую игру, но когда вход в пещеру, открываемый надеждой и воображением, оказывался плоской тенью, озирался, словно обманутый товарищами.

«Ха-ха», — говорил он себе, и спина его стыла от такого смеха.

Путь к дому пройден, уже поселковые собаки заметили его, встали и, узнав издали, весело лаяли. Вийка оглянулся, сейнер шел с моря, двое пограничников брели по косе. Вийка, стоя на берегу, смотрел на них снизу, над плечами солдат коротко торчали стволы автоматов.

Вийка подумал о том, что увидит и других людей, если будет стоять здесь еще, но не увидит уже тех, кто прошел раньше. А если бы у него не было Подруги, то, может быть, учительница бы не уехала...

Вийка потянул эту цепочку — она была бесконечна.

Он почувствовал зависимость от всех, кто жил вокруг, подумал о событиях, над которыми был властен, и о других, властных над ним, и о третьих, складывавшихся в огромное, не зависимое от него течение жизни людей, которых он не знал и никогда не узнает...

Он был в растерянности, он поразился своему безумию: ведь каждое движение сейчас и раньше откликается в будущем, строит или ломает его счастье.

Он не знал, идти или стоять, не знал, как отзовется этот шаг, может быть, его надо было сделать десять минут назад? Может быть, он уже давно опаздывает? И что-то главное в его жизни, как чаша, начало свое падение, и он, протягивая руки, хватая только воздух? И потому не остановил руку матери с мертвой водой, и настал день, в который мать, судорожно обрывая бумажные занавески, сползла на пол, и голова ее ударилась о половицы... И не открылся путь под дюны, и захлопнулась дверь в город прошлого.

Вийка увидел ветку китайской розы, тонкую кожицу, на которой она покачивалась, и матовый влажный ее стебель, торчащий из-под коры обломком косточки. Увидел

ясно, до подробностей, до беззащитной пленки камбия, до желания потрогать. И рука, сопротивляясь этому желанию, дернулась.

Вийка, томимый предчувствием, подчиняясь ему, устремился к дому.

Дернул дверь, занавески бросились ему в лицо. Прорвался сквозь них и кругами обошел комнату. Ветки нигде не было. Опустился на четвереньки, стуча коленками, обыскал пол.

Ветки не было.

Сел на порог и восстановил в памяти утро.

Помнил ветку, летящую к полу, дрожание листьев, удар обломанным концом о половицы.

Вспоминая, переживал ее полет вниз, как падение раненой птицы.

Осмотрел сени, вышел на крыльцо. Сосед, кадровик, зажег в доме свет, окна перестали быть зеркальными, и можно было заглянуть в них.

Кадровик сидел за столом, поднял над головой кусок мяса и, улыбаясь, отпустил. Послышался приглушенный лай. Кадровик посмотрел в окно, пошевелил бровями, вышел на улицу, держа собаку на поводке, и закрыл ставни; собака, оглядываясь, показывала быстрый яркий язык.

Вийка вспомнил о ветке и вернулся в дом. Включил свет. Комната стала желтой.

Ветка стояла в банке на подоконнике. Вийка отпрянул, упал за порог, тотчас же вскочил и подошел к окну.

Ветка стояла косо. Вийка тронул ее, пузырьки воздуха, оторвавшись от стенок банки, всплыли. Листья были с глянцевитыми подушечками меж прожилок. «Значит, — подумал он, — ветка давно в воде, листья успели набрать сок...»

Хотелось оглянуться. Он почувствовал чье-то присутствие. В дом могли зайти отец или Подруга, но отец никогда бы не поднял ветку с пола, а Подруга никогда бы не поставила банку в угол, всегда ставит цветы в центре подоконника.

Прежде Вийку радовали следы ее присутствия в доме. Он входил и видел с порога, что она была здесь, что вещи стали похожими на нее.

Его всегда волновал порядок, наведенный в доме Подругой. Достаточно было увидеть вмятину на покрывале, чтобы представить ее сидящей на кровати с подложенными под колени ладонями. Вещи после ее ухода были ласковы и веселы, иногда он часами не испытывал среди них одиночества.

Если приходила вдруг мачеха и наводила к тому же свой порядок, то вещи угнетали его. Он натыкался на них, ушибался. Они мучили его бессмысленными связями — от подушек, накрытых тюлем, до плотно задвинутых занавесок. Вийке всегда хотелось разрушить этот порядок, предназначенный только для любования, склочный в своей хвастливости порядок.

Включив свет, Вийка не заметил ничего необычного, — только ветка в банке. Так поставить ее могла только мать.

Он резко обернулся. Несколько силуэтов бросились навстречу, заставив вздрогнуть. Это был плащ с кепкой на гвозде, тень этажерки на стене и его собственное отражение в зеркале старого шкафа.

Вийка подошел к шкафу, боясь собственных глаз. Осознав этот страх, принялся, холодея, корчить рожи. Глаза из зеркала держали цепко, за ними открывалась комната со слепыми окнами.

Ему показалось, что за спиной — пустота, провал, который начинается под его сбитыми каблуками, включая звезды и неслышные ветры.

Все, что было позади, оказалось перед ним, в зеркале. Не было пути назад.

Вийка взбунтовался против ночного сумасшествия. Он сделал шаг назад, зажмурил глаза, ожидая бесконечного полета. Ноги коснулись пола, Вийка резко повернулся — перед ним была та же комната.

Сел за стол, но почувствовал пристальный взгляд в затылок, как касание остуженной льдом ладони. Ощущение было физическим, и он оглянулся.

Зеркало смотрело на него. Вийка встал и накрыл зеркало полотенцем.

Вид занавешенного зеркала поразил Вийку, за полотенцем ощущалась жизнь. Зеркало было похоже на женщину, спрятавшую лицо. Черты размыты, но угадывается пристальный взгляд с влажным блеском глаз. Да, за полотенцем, была жизнь.

Он вспомнил, что в день, когда смерть отметила его дом, зеркало было открыто. Оно все видело. Видело. И его рождение, и шаги к окну, и день, в который мать умерла от мертвой воды. Накрытое полотенцем, оно было многозначительно, Вийка ощущал зеркало как живое и опасное существо. Он сорвал полотенце и отшатнулся, он забыл о том, что может увидеть там себя.

Вийка оторвал раму, она ломалась с резким сухим треском там, где были гвозди. Зеркало с обратной стороны выкрашено черной краской. Плоское и беззащитное теперь, оно стало лишь хрупкой вещью.

Вийка прислонил зеркало к стене, ладони были потными, и он почувствовал сквозняк по полу. Дверь была приоткрыта, и края занавесок над порогом колебались.

Вийка замер, пятясь, сел на табурет. Было очень тихо, даже море молчало.

Он просидел так долго; устав от ожидания и неизвестности, неслышно подошел к двери.

За занавесками, давясь дыханием, кто-то стоял. Вийка с судорожным криком отбросил материю.

Боком к нему, выставив ухо, замер человек. Человек дернулся всем телом и, застонав придушенно, бросился на него. Вийка отпрянул и узнал Пинезина. Тот схватил за рукав, закричал:

— Ты чё, узкоглазый!

Вийка молча вырвал руку.

Пинезин неприятно усмехнулся и ушел, хлопая небрежно подвернутыми голенищами резиновых сапог.

Вийка уснул в одежде и от этого быстро пробудился.

Угол с розой был светлее обычного.

По краям листьев просвечивала желтизна, она делала их прозрачными. Середка листьев оставалась еще живой, зеленой.

Желтизна как бы освещала куст. Вийка вылил в кадку ковш воды и увидел на полу два совершенно желтых листка. Он замер — приметы увядания напомнили ему вчерашнее. Вернулось ощущение зависимости от всего, что есть вокруг.

Он осмотрел комнату, и ему показалось, что все находится в ужасающем беспорядке.

Он схватил тряпку и вымыл пол с мылом. Пол стал свежим, чистым, но ощущение беспорядка не проходило, а наоборот, усилилось. Вийка не мог больше оставаться дома. Он взял опавшие листья и вышел на крыльцо. Кадровик, прогуливающий собаку, кивнул неуверенно, сомневаясь, что парень, глядя в лицо, видит его, затем наклонился к собаке и обхватил ее шею ремешком.

Вийка быстро расковырял песок, сложил листья в ямку и так же стремительно, одним движением, присыпал. Оглянувшись, поймал взгляд кадровика.

Вийка спешил на работу и по пути тревожился: не разгадал ли сосед в его движениях детский обряд похорон?

На следующее утро Вийка увидел в центре куста медный лист. Он еще никогда не видел такого. Листья на нижних ветках стали лимонными, вялыми и опадали от легкого прикосновения.

И опять он мучился бессилием, так бывало во сне, когда в дверь ломались, надо защищать дом, а ноги не слушаются: уже видны щели в двери, выдавливаются гвозди из досок, а ноги еще учатся ходить, онемели... и только руки тянутся, мечутся...

Зеркало, вынуденное из шкафа, стол, придвинутый к стене, табуреты под ним — раздражали его, заставляли менять привычные пути в доме, беспорядок был невыносим.

Он вернул вещи на место и обнаружил странное обстоятельство — если он становился спиной к розе и оглядывал комнату, ощущение беспорядка исчезало.

Вийка понял — это роза нарушила порядок в доме, она умирает.

Он оглядел комнату, все вещи были на месте, все в доме было как много лет назад, когда роза поселилась у них, а мама пела свои песни, и вдруг заметил лишние скатерть и тряпичные занавески. Убрал их. Нужны газеты.

Полез в шкаф и наткнулся среди поношенной одежды на альбом, раскрыл осторожно, боясь встретить снимки похорон, помнил их, блеклые, волнисто остриженные копии того дня. Трусливо поднимал очередной плотный лист, ожидая... но возникали другие, принося облегчение.

Среди фотографий нашел снимок матери. Она стояла меж женщин в длинных белых платьях, в косом ступенчатом строю; перед ними, на корточках, — мужчины с брошенными на песок кепками, похожими на свернувшихся щенков...

Он вглядывался в фотографию, лицо матери было молодым, сдержанным, как и у подруг, но что-то выделяло ее среди них, и он никак не мог понять, что же. Это стало мучить, провел по фотографии ладонью, как по запотевшему стеклу. Отличает ее не то, что она была его матерью, носила его в себе, хотя ощущал и это.

Другое, совсем другое тревожило в ней, ночное, звездное, летнее, непонятным образом связанное с сегодняшним, — со сломанной веткой, желтыми листьями, с домом, из которого давно выветрились ее запахи, а чужая женщина вынесла ее одежды. Тревожило и пугало.

Его пугали фотографии матери, как и снимки похорон. Вспомнив о них, понял: мать среди других выделяла смерть.

Взгляд матери был сдержан, но Вийка видел в ее глазах предчувствие и даже тайное знание о нем, своем сыне, и о его будущей жизни.

Он отшатнулся от альбома, сжал веки, но продолжал видеть лицо матери, отмеченное покоем.

...Мать сказала короткое лающее слово, сжала Вийке раненую ладонь и повела стынущей вечерней улицей прочь от дома.

Он скоро устал, вторую половину пути бежал почти в беспомощности, закрыв глаза, ощущая лишь руку матери, тянущую его.

Пришли на третью базу и остановились возле дома Дё. Она сидела на крыльце в галошах на босу ногу и курила. Мать сказала, что ушла из дому, сказала так, будто Дё должна обрадоваться ее словам. Вийка уже оседал в песок, звуки казались огромными мягкими шарами. Дё подняла его, внесла в дом и уложила на циновку. Мать безвольно шла следом, остановилась, когда Дё открывала дверь ногой, наклонилась, когда та укладывала Вийку.

Дё стала готовить моллюсков.

Мать тоже взяла ракушку, но Дё запретила ей. Мать села за низкий столик и, глядя слепо в спину подруги, трогала чашечки для риса, стальные палочки.

Дё под села к ней, сняла платок, вытерла им вспотевшее от печного жара лицо и разложила самодельные цветочные карты. Мать жаловалась, смахивая слезы со щеки:

«И разве вы не помните, сестра, как в сорок восьмом, когда наши возвращались на Родину, он проиграл в карты все деньги и я не смогла уехать? А в пятьдесят третьем, когда американцы убили дорогого батюшку и братца? Матушка осталась одна, и разве он не выкрал у меня документы и не получил на меня советский паспорт, чтобы я не уехала и не увезла сына? А теперь у него шашни с нормировщицей, мы ему не нужны... Остались без Родины, матушка меня, предательницу, давно уж прокляла...»

Дё закричала, размахивая в сумерках красным глазком папиросы: «Эй, сестрица,

подумай, что говоришь! Разве здесь плохо? Ты вспомни-ка, как с пяти лет спину гнула на чужих дворах? Как японцы по-своему говорить заставляли, как ленты с платья срезали? Как вспомню — ничего не хочу... Наша Родина там, где дети...»

«Там теперь другая власть...»

«Ой, не знаю, не была, не видела...»

Вийка застонал, засыпая, мать склонилась к нему, расстегнула ворот, высвободила неловко поджатую руку. Кулачок распустился, и мать увидела черную и прямую, как натянутая бечевка, царапину. Она сразу же поняла, почему лицо сына было измазано кровью, но ничто не могло поколебать ее в обиде, так велика и непоправима была эта долгая боль.

Мать заплакала молча, она тревожилась о сыне; она легла рядом с ним, баюкая его руку и лаская сердцем.

Вийку разбудил запах моря, его принес Тэн, муж Дё, самый большой человек в поселке. Тэн перегнулся через Вийку, укладывая своего сына, Тэко, которого всегда брал с собой на лов.

Дё мыла рис, а мама топила печь. Вийка встал и подошел к ней. Он обнимал ее за бедро и озирался на Тэна. Тэн засмеялся, сел на циновку, снял сапоги, продолжая смеяться, потянулся к портянкам... руки его замерли, потом поползли назад — Тэн упал на спину, Вийка подумал, что он умер, но через секунду услышал его храп.

Тэн дернулся, вскочил, засмеялся, лег опять, раскинул ноги и уснул.

Мать взяла Вийку на руки и понесла домой. Она шла вдоль косы к Песчаному по грудь в тумане, как в облаках. Туман был таким густым, что она не видела земли и своих ног.

Сын, подрагивая ресницами, спал.

В Песчаном она встала за углом своего дома, подождала, когда муж уйдет на работу, и вбежала в комнату. Она положила сына на кровать, разула и накрыла своим платком.

Через полчаса сын вспотел, мать видела, как росли капельки пота на тонкой, с голубыми тенями вен, коже лба. Она подула ему в лицо, осторожно, чтобы не коснуться дыханием чутких век, сидела на корточках перед сыном, ровными и бережными выдохами гася жар его сна до тех пор, пока туман за окном не порозовел.

Солнце взошло, и время матери истекло. Она открыла стол, достала трехгранную бутылочку, вылила жидкость в стакан и поднесла ко рту. Сморщилась, резко откинула голову, будто ее ударили в лицо.

Сын спал, но вот он поднял и опустил веки, показал белки, это осталось у него еще с младенчества, и она знала, что он скоро проснется.

Мать налила в медный тазик воды, умылась, выплеснула воду прямо с крыльца, переделась в белое свадебное корейское платье с длинными лентами на груди. В платье было холодно, и она накинула зеленую кофту.

Вийка открыл глаза, встал на четвереньки и увидел мать в зеленой кофте у окна. Мать надевала ее только по праздникам, после того как напекала большую чашку печенья.

Вийка вскочил и, смеясь, стал прыгать на кровати.

Мать пила большими рыдающими глотками, выронила стакан, схватилась за занавески, рванула на себя и упала на пол.

Она хватала ртом воздух, и глаза ее, перекошенные, страшные, смотрели на Вийку.

Мать дернулась, ее скрутило резко — она ударилась лбом о колени и сказала бессильно, тихо: «Сыночек...» Вийка слезал с кровати, нащупывал пол ногами.

«О-о-о...» — закричал вдруг кто-то в доме. Вийка шлепнулся и, подгоняемый воплем, пополз к порогу, скатился с крыльца и в страхе побежал вдоль улицы.

Плача, он бежал до тех пор, пока не забыл о страхе. Он увидел себя среди больших собак, вспомнил о матери и побежал назад, чтобы укрыться в ее коленях.

Он вошел в раскрытые двери, ступил на пол, истоптанный людьми. Никогда еще не было так много людей в их доме. Они держали маму за руки и ноги, а отец разжимал ей зубы и лил молоко в рот. Она не хотела молока, она выплевывала его прямо в лицо отцу. Вийка сидел под розой и смотрел. В комнате дул ветер, Вийка дрожал, но ему было интересно, ведь он никогда не видел, как играют взрослые.

Потом маму понесли из комнаты, отец говорил ей: «Выпей молока, ну, выпей...»

И вот что запомнил Вийка: мать вдруг протянула отцу руку.

Став взрослым, Вийка никак не мог понять этого, но вспоминая, он чувствовал себя несчастливым и одновременно... счастливым, плакал и смеялся.

Вийка остался один в доме и был рад этому. В поисках печенья полез под стол, чашка была пуста. Сильно болела голова, он забрался на кровать и закрыл глаза, ожидая маму. В полусне увидел небо, но не темное, с остриями игл, а горящее в глубине, воспаленное, увидел себя в нем, тело свое.

Так началась его первая болезнь, первая из тех, которые он помнил, особенно терзавшая его по ночам температурой и бредом, все ощущения почему-то сосредоточивались в глазах, словно он переселялся в их заплаканные сферы, лишенный возможности управлять своим телом, мучимый слабостью и бессилием, как юноша, впервые осознавший беспредельность мира, или старик, осознавший жизнь как некое течение, увлекающее его к неотвратимому.

Фельдшерица рыбокомбината определила простуду и лечила от воспаления легких. Отец стал суеверным, как становятся суеверными в беде многие слабые люди, верил всем: и фельдшерице, и знахаркам, говорившим, что это покойница, покинув мир путем, не угодным богу и природе, пыгает сына своей тоской.

Отец по их советам прятал под подушку сына ножи, топор. Эти предметы до самой юности тревожили Вийку каким-то еще одним, тайным, скрытым от всех назначением.

...Вийка отшатнулся от альбома. Всё в доме вызывало у него теперь страх.

Он осмотрел комнаты пристально, напряженно, пытаясь найти и объяснить причину этого страха. Ведь это был его дом. Родной. Как же получилось, что именно родное вызывает в нем трепет? Почему самый сильный страх вызывает все, связанное с матерью, давшей ему жизнь, и жизнь которой он продолжает?

Себя испугался в зеркале... нет, не себя — того, за кого себя принял. Но узнав, продолжал бояться глаз своих, они следили из зеркала... Ведь это и мамины глаза...

Вийка вновь посмотрел на снимок матери. Лицо ее и глаза пугали больше всего. Живой взгляд умершего человека. Это открытие почему-то обрадовало его.

Она смотрит оттуда... не одна смотрит, ее глазами смотрят и те, кто был до нее, все они и в моих глазах, это и пугает...

Захотелось поскорее выйти из дома, и он вышел, не замечая того.

Его знобило от таких мыслей, их правота подтверждались холодом в крови.

Он засмеялся; услышав свой смех, очнулся и увидел себя на берегу моря.

Страшен был его смех в страхе. «Я не... сойду с ума?» — и эта мысль отозвалась стужей.

«Это теперь страшно, — понял он с неожиданной ясностью, — а до этого мне было стыдно. Не страх вызывали родной дом и мама, а стыд».

— Стыд, стыд, стыд, — сказал вслух Вийка с ожесточением, машинально раздеваясь. Он вспомнил, как стыдился, прятал от одноклассников корейские газеты, шумел, чтобы ребята не слышали в доме корейской речи. Это было нелепо, отвратительно и бессмысленно, ведь друзья знали, что он кореец... И знали, понял он

вдруг, что он стыдится этого, иначе зачем было им бросаться в драку на всякого, кто осмеливался дразнить его...

«Я хуже, чем отец. Ему все равно, где жить, лишь бы жить хорошо, но он никогда не стыдился себя. Нет ничего хуже, чем устыдиться своего рода. И род наказал меня. Все, кто был до меня, до самого первого человека моего рода, знают обо мне всё. И мне стыдно».

Вода была холодной, Вийка почувствовал ступнями скользкую тину галечника. Сделал шаг и погрузился в море по пояс, потом сразу до подбородка.

У самого дна вода была еще холоднее, Вийка передернул плечами, непроизвольно вздохнул. Хотел сделать еще шаг, но не мог нащупать ногой дна — дно круто уходило вниз. Тело качнулось вперед, Вийка инстинктивно заработал руками и восстановил равновесие. Так он стоял долго, не решаясь броситься в глубину. Подумал, что его, мертвого, могут съесть нерпы, и он останется в море навсегда, кровь, плоть его будут вечно скитаться по океану, переходя от одной нерпы к другой. Ему стало жаль себя. Слезы помогли решиться нырнуть в глубину. Он поплыл вниз, быстро достиг дна и открыл глаза.

В воде было светло, холодно, он увидел солнце, оно качалось, растекалось серебристо-зелеными бликами. Вода выталкивала. Чтобы удержаться у дна, приходилось работать ногами.

Нужно открыть рот и вдохнуть, впустить воду. Он открыл, набрал воды, но вдохнуть не решился. Воздух в легких кончился, пришлось вынырнуть. Он вдохнул и вновь нырнул, осторожно потянул в себя воду.

Перехватило горло, легкие раздирали от сдерживаемого кашля, он сжал губы ладонями и свернулся там, на дне, в клубок, вздрагивая всем телом, и ему стало страшно, что он не сумеет подавить кашель и захлебнется. Из последних сил рванулся, ринулся наверх. Путь этот, показалось ему, был страшно долог.

Глотнув воздух, сотрясаясь от кашля, устремился к берегу.

Долго лежал на теплом песке, время от времени кашляя резко, со всхлипом, от щекочущей боли в легких. Разболелась голова, затошнило. Он брел домой и отплевывался.

Дома к нему вернулся стыд, он вспомнил, как передразнивал походку Дё, вспомнил многое другое и стал противен сам себе.

Вийка нашел веревку и привязал ее к крюку, который отец вбил по примеру русских, чтобы подвешивать корзину, заменявшую люльку.

Привязывая веревку, Вийка поймал себя на том, что крюк ему страшен.

Долго возился с петлей, не мог сообразить, как ее сделать скользкой, и ни на секунду не забывал о том, что не должен касаться крюка, а почему не должен — не знал.

Соорудив петлю, спрыгнул с табурета и посмотрел на свою работу снизу. Вид крюка с петлей из новой жесткой веревки был жуток. Вийка поскорее вскочил на табурет и, стараясь не видеть и не ощущать петли, так он иногда глотал лекарство, остерегаясь его неприятного вкуса, просунул в нее голову.

Веревка остро и неприятно пахла пенькой. Теперь, когда петля лежала на плечах, он не чувствовал стыда, как будто уже заслужил прощение.

Его не тошнило, и было как-то уютно стоять на табурете, уколы жесткой веревки были даже приятны, приятно видеть с табурета комнату и окно, и то, что за окном — берег и море.

Все это было прежним, но и другим — ясным, веселым — и вызывало новое странное чувство, как будто кто-то с этим всем прощается, а он наблюдает за ним, и человек этот нравится ему в минуты своего прощания.

Вийка подумал, что этот человек есть он сам, ему захотелось, чтобы кто-нибудь вошел в дом и увидел его на табурете.

Сначала он представил, что вошла Подруга, потом товарищи и, наконец, учительница.

Особенно же ему хотелось прихода Пинезина. Стоя на табурете, Вийка вспоминал его насмешки и не понимал теперь, как можно было не отвечать. Он почувствовал ненависть к нему.

Нет, нельзя уходить, невозможно, прежде надо освободиться, пойти к нему и сказать... все сказать... А что сказать? Пинезин, наверное, уж и забыл, еще и удивится, рассердится, и получится смешно... Нет, надо просто плюнуть ему в лицо или ударить...

Вийка машинально ткнул рукой в воображаемое противное маленькое лицо Пинезина.

Вийка совсем забыл, на чем и для чего он стоит. Дернулся за рукой, вспомнил и от неожиданности вздрогнул, как вздрогнул бы, очнувшись на краю крыши.

Табурет встал на две ножки, Вийка вскинулся, потом потянулся инстинктивно к окну, в которое, как ему показалось, должно было отбросить его с табурета.

В то же мгновение табурет скovyрнулся, окно подпрыгнуло вверх и сразу же замерло резко, Вийка почувствовал, как его кто-то изо всех сил дернул за голову, будто хотел оторвать, но боли в шее не было, боль была в сердце, он не хотел того, что случилось, нет! — подумалось ему в небывалой, рвущей сердце тоске по жизни, нет! Жить!

Была тишина, и в тишине невесомой теплой влагой объяло его бескрайнее светоносное пространство. Оно тихо вращалось, свивалось, голубело, захватывало и все глубже втягивало в себя, в свою густеющую и оттого еще более осязаемую — уже сладостно нежную плоть.

Он услышал голос, неведомо откуда пробившийся, зовущий женский голос. И тотчас же ласковый, увлекающий ввысь смерч распался, Вийка разом ощутил свое тело — как нечто огромное, неподвижное, стынущее пространство, но уже внутри себя, крохотную грустную раковинку свернувшегося пространства, вслед за этим почувствовал чьи-то крепкие, вокруг его рта сомкнутые губы и чужое, с силой проникающее в грудь дыхание.

— Хватит, — сказал кто-то, — он уже сам дышит.

Губы разжались.

Вийка открыл глаза. Близо и жарко подступал кровавый нежный дым, и в нем, прозрачный, чистый, холодно сиял лепесток. Вийка хотел взять, но ладонь прошла сквозь него и ткнулась во что-то горячее, влажное, живое.

— Ай! — легонько вскрикнул и неуверенно засмеялся рядом кто-то знакомый.

Дым стал таять, отступать. То, что было далеко, — море, облака в окне — Вийка видел отчетливо, а близкое, на расстоянии вытянутой руки, заслоняло сверкание лепестка.

У окна топтался, хрустя стеклом, Пинезин, прилаживая выломанную крестовину рамы. Кто-то сидел рядом с Вийкой, шумно утомленно дыша.

Подошел, приблизил расплывающееся лицо Пинезин, сказал:

— Во дурак, отвечай тут за тебя...

Вийка привстал, чтобы отодвинуться и узнать дышащего рядом человека, но тут на лоб, на глаза ему легла горячая рука и прозвучал слабый детский голос Татьяны Васильевны:

— Тихо, тихо...

Вийка откинулся на подушку, даже сквозь ладонь Татьяны Васильевны он продолжал видеть пульсирующий гладкий свет лепестка. И этот лепесток, и та странная пустая тишина, которую он чувствовал в себе, вдруг стали мучительны, они о чем-то напоминали ему — о чем-то ужасном, стыдном, чего он не хотел, не желал помнить.

— Ну как там? — спросил вдруг Пинезин.

— Где? — удивилась Татьяна Васильевна.

— Там, где он был.

— Не поняла, простите.

Пинезин стал ходить мимо окна. Лепесток делался все прозрачней; все отчетливей проступало лицо Татьяны Васильевны: глаза, губы, тяжелая серая челка.

— А что, земля, крепко русская женщина целует! Мертвого поднимет! — Пинезин засмеялся.

Он был маленьким, невзрачным. Вийка не хотел видеть его и закрыл глаза. И как только закрыл, вспомнил обнимавший, увлекавший к какому-то необыкновенному счастью свет и голос, чей же был это голос, кто позвал его, вырвал из радостного сна? И вдруг понял: то был не сон, а смерть.

Так вот она какая — не тьма, не боль, а тихая вода, любовная истома! А рождение, жизнь — мука?

— Я не целовала, это называется искусственное дыхание, — тихо, строго сказала учительница.

— Ага, а то еще есть искусственное осе.. — Пинезин усмехнулся и не договорил.

Рука Татьяны Васильевны дрогнула и скользнула на подушку.

— Мне, пожалуй, пора, — сказала она, вставая.

Вийка неловко схватил ускользавшую руку учительницы и умоляюще посмотрел ей в глаза.

— Ты-то сиди, — Пинезин засмеялся. — Ишь, вцепился. Как в мать родную, — он открыл раму без стекла и одним махом выпрыгнул на улицу, там засмеялся и сказал:

— А я всю жизнь о негритянке мечтаю...

— Несуразный человек, — вздохнула Татьяна Васильевна, — и как же он догадался...

— Я его не просил, — тихо сказал Вийка и выпустил ее руку.

Татьяна Васильевна села, но уже не на кровать, а на табурет, и сама взяла его ладонь.

— Как же ты так сразу, не объяснился даже, — заговорила она ласково. — Мне Пинезин сказал, что ты из-за меня, но разве я виновата перед тобой? Ведь ты никак, даже намеком не дал понять... Это так странно, что мне даже не верится... Я тебе, конечно, благодарна, но ты больше не смей, — она улыбнулась, — а я должна подумать, мне теперь есть о чем...

С грохотом отворилась дверь в сених.

Вошел отец, за ним — громадный пожилой человек, хирург Захаров.

Хирург с порога густо задымил папирасой и, в дыму неся свою большую, в сивых вялых кудрях голову, подошел к кровати, оглядел Вийку и больно помял своими заросшими толстыми пальцами его шею, добираясь до позвонков, заглянул в глаза и сказал отцу:

— Здоровья у твоего дурака — на сто лет!

Отец проводил хирурга, долго надоедливо благодарил его на крыльце, потом так же долго и надоедливо благодарил Татьяну Васильевну, приговаривая после каждой фразы:

— Спасибо, что пришел, да, спасибо, что пришел...

Вийке стало неловко и стыдно перед учительницей за его неграмотную речь, старчески неопрятное темное лицо.

Он коротко застонал — и от стыда, и от презрения к самому себе.

— Что такое? Что такое? — вскричал отец по-корейски, кинулся к нему и стал отрывать от его лица ладони. — Тебе больно?

Вийка вырвался и резко отвернулся к стене.

Отец сел на кровать и запричитал:

— Ох, горе, горе! И за что такое горе!

— Да какое ж горе, — стала утешать его Татьяна Васильевна. — Все обошлось!

— Нет, не говори, — возразил отец, — еще какое горе! Бог наказал!

— Да при чем тут бог? — засмеялась Татьяна Васильевна.

— Мама забрал, его хочет забирай!

— Бог? — не выдержал Вийка. — Ты думаешь, я ничего не помню? А я помню! —

Вийка скинул ноги с постели, хотел встать, но закружилась голова, подступили тошнота и розовая мгла, ярче засветился лепесток.

— Помнишь, помнишь! — испуганно согласился отец.

Вийка почувствовал слабость, злость прошла, но не от слабости, а оттого что он подумал о матери, увидел ее на полу с младенчески поджатыми коленями.

— Ты зачем у нее документы... взял? Зачем не отпустил? — тихо сказал Вийка, горестно и больно ощущая ее одинокую, безысходностью отравленную душу. — Она бы жила, — уже шепотом, трудно добавил он.

— Сынок, — так же тихо, мгновенно посеревав, сказал отец по-корейски, — я же для тебя... Там была война. Вы бы погибли.

— Кто тебя просил? Кому мы здесь нужны? Мы чужие... Я же с детства стыжусь всего своего, потому что хотел быть как все — русским и люблю все русское, — ответил Вийка, с ужасом осознавая, что говорит не столько от раскаяния и боли, сколько из желания понравиться учительнице.

— Ты наш, зачем же стыдиться? — Татьяна Васильевна спросила с горьким, сочувственным недоумением, и только теперь, после ее слов, Вийка почувствовал поднимающуюся теплую волну раскаяния.

— Кто я после этого? Предатель, нет, хуже... — захрипел он от какой-то сладкой облегчающей боли.

— Предатель? — сказал отец по-корейски и быстро придвинулся. — Кто тебе рассказал? — закричал он.

— Никто. Я помню.

— Кто? Кто? — Отец больно сжал ему кисти.

— Я же сказал — помню. И как она отравилась из-за тебя — помню, — вырвалось у Вийки.

Отец вздрогнул, выпустил его руки и тихо угрожающе прошептал:

— А, так она и к тебе ходит?

— Кто? — не понял Вийка.

— Мама, — отец усмехнулся, странно огляделся и вдруг, пригнувшись, бесшумно, мягко отбежал к окну. — Зачем ты ходишь везде?! — закричал он, выставив в небо два крепко сжатых кулака. — Мало тебе меня, ты и за ребенка взялась? Уходи, дура ревнивая.

— О чем это вы? — тревожно спросила Татьяна Васильевна.

Отец оглянулся, посмотрел на нее невидящими мокрыми глазами.

— Все же хорошо, — растерянно сказала Татьяна Васильевна.

Отец кивнул и вышел на улицу.

— Что с ним? — Татьяна Васильевна недоуменно посмотрела на дверь.

— Ничего, пусть, — тихо и зло прошептал Вийка.

— Уж я не знаю, что у вас, но мне его очень жалко, — Татьяна Васильевна протяжно, по-детски нежно, вздохнула.

— Жалко, да? — быстро спросил Вийка. — Ничего вы не знаете! Не знаете!

— Откуда же мне знать? — виноватым трогательным шепотом спросила Татьяна Васильевна, близко склонившись к нему с высокого табурета.

В ее светлом русском лице, ясно очерченном в тихих сумерках комнаты, каким-то странным образом он увидел другое: в смуглом румянце, в горячей траурной черноте глаз, и это наполнило его таким мучительным неразрешимым чувством, что неудержимо задрожал подбородок, и вспыхнули, заслоня все, слезы.

— Не знаете, не знаете... — повторял он горько, обвиняя Татьяну Васильевну в чем-то, ему самому не ведомом.

А Татьяна Васильевна утешающе кивала, мягко подрагивая ресницами.

К ночи за ней зашли: кто-то, невидимый в темноте, поднял руку к окну, хотел постучать и, не обнаружив стекла, ойкнул.

— Татьяна Васильевна, ты здесь еще? — тотчас же позвал с улицы бойкий женский голос.

— Здесь, здесь! — отозвалась торопливо Татьяна Васильевна и подошла к окну.

— А мы уже спать хотим! Ты как? — Вийка почувствовал, как говорившая женщина улыбнулась в темноте.

— Я сейчас! — сказала оживленно Татьяна Васильевна, — минутку!

Она вернулась к Вийке, присела перед табуретом, написала на нем трехзначный номер телефона и попросила:

— Позвони завтра, ладно?

Вийка кивнул, глядя на номер. Татьяна Васильевна приподнялась и неуверенно коснулась губами его щеки.

Она ушла, и давно затихли на улице ее шаги, слабый детский голосок, но Вийка не чувствовал себя одиноким; освобождая комнату от битого стекла, опавших на сквозняке листьев розы, он то и дело поглядывал на табурет: в пустоте над ним он видел очертания ее тела и ощущал живое тепло.

Явился Пинезин, принес стекло и замотанную в кофту кастрюльку с вареными лососевыми потрошками. Пристроившись на столе резать стекло, Пинезин засмеялся:

— А ведь ты знал, что мы следим! Так вы, значит, головы нашим бабам дурите!

Вийка встал на табурет и ломиком вырвал из потолка крюк. Тонкой стружкой потекли серые перепревшие опилки. От усилия закружилась голова, помутилось в глазах, запестрел крылом бабочки лепесток.

А если бы мать родила его в Корее? Ведь был бы не он, а кто-то другой, с тем же лицом и телом, но с иной душой, об ином тоскующий, примиренный со своей судьбой, чуждый, не нужный ему, нынешнему, человек?

Как же это просто! О чем бы он ни печалился, чего бы ни стыдился и ни ненавидел в себе, но все это — он, он! — неразумный, неблагодарный человек. Живущий в этом мире, среди этих людей. Они, отразившиеся в его душе, — есть он сам, его часть, и этот несчастный Пинезин, поднявший звонкое стекло к раме, и Татьяна Васильевна, которой он завтра позвонит...

Значит, страдание — не наказание, а всего лишь вещество, из которого творится человеческая душа.

Роза может завянуть, могут истлеть бумажные занавески, но мать будет жива, пока жив он, своим существованием подтверждая это.